

Семен Юшкевич

Левка Гем



Семен Юшкевич

Левка Гем

«Public Domain»

1922

Юшкевич С. С.

Левка Гем / С. С. Юшкевич — «Public Domain», 1922

«В городе готовились к непредвиденному, ужасному, беспощадному. Казалось легким и возможным, что через месяц, через неделю, завтра враг внезапно покажется у стен, ворвется в город, разрушит дома, уведет жен, девушек, мужчин перебьет, и не было в этом городе ни одной хижины, ни одного дворца, где бы о войне не говорили, где бы войну не проклинали, как самое тягчайшее, ненужное зло. Ежедневно, словно в эпидемию, десятки семей бежали куда глаза глядят, чтобы уйти от страха, оставшиеся с грустью и завистью глядели на опустевшие дома, и чем дальше, все страшнее и страшнее становилось наблюдать этот веселый и неумолимый большой город, который по-прежнему продолжал творить жизнь в своих богатых и бедных кварталах...»

© Юшкевич С. С., 1922

© Public Domain, 1922

Семен Соломонович Юшкевич

Левка Гем

Война не прекращалась. Никто не знал, почему начали воевать, почему стало нужным, чтобы одна сотня тысяч людей убивала другую сотню тысяч людей; никто не понимал, что в том куске земли, из-за которого шла беспощадная борьба, – но война уже чувствовалась везде: и вверху, и внизу.

В городе готовились к непредвиденному, ужасному, беспощадному. Казалось легким и возможным, что через месяц, через неделю, завтра враг внезапно покажется у стен, ворвется в город, разрушит дома, уведет жен, девушек, мужчин перебьет, и не было в этом городе ни одной хижины, ни одного дворца, где бы о войне не говорили, где бы войну не проклинали, как самое тягчайшее, ненужное зло. Ежедневно, словно в эпидемию, десятки семей бежали куда глаза глядят, чтобы уйти от страха, оставшиеся с грустью и завистью глядели на опустевшие дома, и чем дальше, все страшнее и страшнее становилось наблюдать этот веселый и неумолимый большой город, который по-прежнему продолжал творить жизнь в своих богатых и бедных кварталах...

Народ стонал, страна стонала, но было нечто выше этих стонов страны, народа, нечто высшее, чем эти громадные толпы голодающих людей, убегающих людей, и это высшее, тайного смысла которого никто не знал, заставляло еще мириться с войной. Иногда напряженное состояние рассеивалось: приходило известие о подвиге, о геройстве офицера, солдата или солдат, и мрачные умилялись, и хмурые улыбались... Тогда казалось, что кошмар вдруг сгинет и колеса обычной жизни тронутся, толкнутые радостью победы и отдыха. Оживал город, оживали окраины, и все думали: вот конец!

Но дни шли... Грозный мрак, нависший где-то злым пугалом, сгущался, приближался, – раскаты громов орудий делались слышнее, и горячий кровавый туман уже мелькал в глазах... Все его чувствовали, все оборачивались в одну сторону, и, мнилось, близко-близко складывались в гору навалившиеся друг на друга тела, лицом вниз к земле, груды оторванных рук, ног, а по ночам в скорбной тьме чудились стоны и мольбы людей. И снова шепотом все спрашивали: зачем это нужно, кому это нужно? И никто не знал ответа, и не было ответа.

Война не кончалась... Паника шла сверху вниз, снизу вверх, – она не кончалась! Начинаясь разгром нищеты, – она не кончалась! Как бы одичавшая от жертв, от крови, она лишь теперь разгоралась и всеми своими щупальцами бесстрастно втягивала новые и новые тысячи, мечтая вызвать этим такое усилие, какого не видел мир... И в этом безумном и страстном вихре завертелось все живое, все неодушевленное в стране. Снаружи жизнь шла обычная, но внутри стоял и не прекращался стон, плач, вой, – появились банды озверевших голодных людей, – война не кончалась! Кое-где уже поднимался народ, но еще тихо ворчал, свирепея от тяготы, от ужаса, – пронесли слухи о насилиях одной части населения над другой, но все это быстро и навсегда всосалось новыми и новыми ужасами и потонуло в общем гуле...

И так изо дня в день, из месяца в месяц прошли прекрасные весенние дни, залитые кровью мирных людей, так прошло яркое лето, неуродившее лето, как бы опрокинувшее свои бесплодные равнины и поля на голову народу, – и так во мраке начиналась печальная неведомая осень... Война не прекращалась...

* * *

Туман побелел, порозовел. Где-то зазвонили в колокола, и окраина проснулась. На улицах, нелепо широких и нелепо узких, поднималась утренняя, сонная жизнь. На дворах звякали колокольчики, появлялись мужчины и женщины, то в одиночку, то парами или в кучку, кто с

инструментом за плечами, а кто так, иные женщины с корзинками в руках, – и все исчезали в осеннем тумане.

Старуха Голда зажгла лампочку и, трясаясь от холода, вошла в лавочку. На стойке спал жених Этель, ополченец Мотель, длинный и худой парень лет двадцати пяти. Она бесцеремонно растолкала его и прогнала в комнату. Потом повозилась у бочонка с сельдями, залила рассолом высушенную за ночь горку огурцов и стала снимать с дверей тяжелый крюк.

– Доброе утро, – произнесла покупательница Перель, увидев Голду в дверях лавочки.

– Доброе утро, – угрюмо ответила старуха. – Ваш муж тоже запасный?

– Дорогая, кто сказал вам: нет? – быстро подхватила Перель. – Мой Вольф запасный! А муж Пески?

– Вы угадали! Кого находит счастье? Бедняка, погорельца! Вот открыла лавочку. Мне бы лучше закрыть ее. Жених ополченец, а муж дочери запасный. Да, да запасный!

– Вы продаете картофель? – перебила ее Перель.

– Конечно! Почему же мне его не продавать?

– Так дайте мне три фунта. Весы у вас хорошие? Вы честная женщина, а весы могут быть плохими. Вот, говорят, теперь на фабриках делают только плохие весы. Не знаю, может быть, так и нужно! Может быть, нужно, дорогая...

Она уныло покачала головой, и обе зашли в лавочку. Послышался плач ребенка. На минуту плач затих и сейчас же опять возобновился.

– Не могу слышать плач детей, – грустно выговорила Перель. – Я и сама готова заплакать.

– Это сынок Пески плачет, – сердито произнесла Голда. – Бедняжка всю ночь не спала. Бедняжка в шестом месяце, но от горя два раза чуть не сбросила. В первый раз, две недели тому назад, когда сгорела ее лавочка и маленькое добро; второй раз, пять дней тому назад, когда умер ребенок. А Нахмале ничего знать не хочет. Замучил Левку, замучил Песку. Спросите его, отчего он плачет?

– Я очень жалею детей, очень, – повторила Перель. – В них радость, и горе от них сладкое. А у меня нет ни одного, да, ни одного! Пять лет замужем, а детей нет, дорогая...

Вошли еще две женщины, обе какие-то темные, серые, и руки от холода держали спрятанными подмышками. Одна спросила крупы, другая – муки, и сейчас же заговорили о войне.

– Хотела бы уже услышать что-нибудь повеселее, – уныло сказала Перель. – Война, война! Голова не на месте, и нет сил уже жалеть себя, жалеть людей.

– Нет сил, есть силы, а запасных будут брать, – уверенно повторила спросившая муки и постучала ногами от холода. – Мой муж не выдумает. И если он уже кивает головой вот так, то нечего спорить. Он сказал: «запасные, готовьтесь!» Люди ходят по улицам, как козленочки... Вот так мне и кажется: как козленочки... Невинные, бедненькие, а смерть уже стоит за плечами.

– Стоит смерть, – пробормотала Перель, побледнев. – Дорогие мои, зачем война?

– И я бы спросила: зачем война? – вмешалась рыжая, покупавшая крупу. – Жили тихо, тихо. Тихо таки умирали с голоду, тихо таки мучились! Пошла бы и к старшему и спросила: зачем война? Или мало наши сердца дрожат? Или мало мы плачем? Или мы требуем чего-нибудь? Надо же знать почему?

– Теперь вижу, с кем дело имею, – мрачно выговорила Голда. – Вы не сошли с ума? Говорить! Откусите свой язык. Хотят войны, – не мое дело. Не мое дело, говорю вам. Не знаю, кто воюет, что воюет... У меня не спросили, – я не отвечаю. Но моему Левке надо уехать. Тоже козленочек, а уговорите-ка его! Я кричу с первого дня: ему нужно уехать. Но подождал пожара, подождал смерти ребенка, а не едет. Не едет!

– Дорогая, – мягко сказала Перель, – никому не хочется уехать.

– Как не хочется? Еврей воин? Еврей убийца? Не знаю, как ваш муж, но Левка ведь настоящий козленочек. Он тихий человек, хороший человек, работающий человек и любит Пеську и детей, как три мужа и три отца. Но все же он козленочек!..

– Он походит на моего мужа, – сказала рыжая. – Тот тоже рвется на войну, а уж дурак, а дурак!..

– Все хороши, – хмуро заметила Голда. – Умные люди давно разъехались...

На пороге появился человек, весь в заплатах, и прорычал хриплым голосом:

– Вы возьмете сегодня керосин? Давайте-ка свою кубышку.

* * *

Песька уже давно проснулась, разбуженная болью, начавшейся где-то внизу, не то в спине, не то в животе. Она спала на кровати матери, единственной кровати в комнате, и, измученная бессонной ночью, уже как в кошмаре терзалась видениями. Нахмале плакал, кто-то его успокаивал, доносился из лавочки голос матери, покупателей, – все было дальним, как будто на краю света, и не трогало ее.

«Кажется», – подумала она, вдруг вздрогнув от боли, и прислушалась к себе. «И этому нужно радоваться?» – с недоумением спросила она себя.

Лишь на днях похоронила она четырнадцатимесячного мальчика, прекрасного, чудесного мальчика, и образ его, больного и слабого, не отходил от нее во все эти дни страдания и скорби. Он умер, он умер! Казалось ей, что никогда уже она не будет плакать такими слезами, никогда другая жгучая, ядовитая печаль не заглушит отчаяния, что навсегда залегло в ее душе. Девственное горе, наивысшее горе первой потери подняло ее внутреннее существо так высоко, а оттуда сверху ей простой, темной, ей кроткой что-то открылось... Почему? И по ночам она тревожила мужа и с недоумением требовала ответа: «Почему, Левка? Почему жизнь, почему смерть?» И в пораненном сердце и в пораненных глазах мелькал кривой, замученный ребенок, как лезвие, рассекал ей мозг, и она спрашивала, вся в горе, вся в смятении: «Почему замученный? Ты знаешь, Левка? Если он дан был для радости, зачем отняли его? И где мои радости? И если нужны были его страдания, то к чему? Почему не мои, а его бессильного, его молчаливого? Не знаешь, Левка? А что есть смерть, Левка? Там, в мальчике, или в моем сердце?»

Но когда проходило, снова мелькал ребенок, то здоровый, то больной, душа ее рвалась к обоим, и в гневе и в страдании ей хотелось крепко накричать на кого-то, упасть на колени...

Опять кольнуло где-то далеко, но прошло сейчас же, и теперь это далекое было знакомое, столь знакомое, что она поверила...

– Ну да, – как бы нехотя согласилась она. – Вот нужно сбросить!.. А что есть жизнь?..

* * *

Левка Гем проснулся и, стараясь не разбудить Песьки, молча начал одеваться. Голоса в лавочке беспокоили его, и, словно там могли услышать, он поминутно шикал.

– Тише, женщины, тише! Женщины, женщины, женщины!..

– А что есть жизнь, Левка? – прошептала Песька.

– Ты не спишь, Песька? – испуганно спросил он. – Я думал, ты спишь.

– Что-то плохо мне, Левка! Ну, хорошо, – дети мешают, матери не мешают, но кому-то мешают. Но что есть жизнь, Левка? И почему?

– Жизнь? Что, Песька? Как раз кстати, – жизнь! Положим, теперь утро, но спросить можно. Всегда можно спросить. Но почему-то не знаю я, что есть жизнь. Хотел бы знать, но не знаю. Жизнь!

– Что-то мне плохо, Левка, так плохо...

Она притянула его к себе и долго молча держала за руку.

И он молчал, согретый ее любовью, и оба тихо вздыхали в нежном страхе перед неведомым, роковым.

– Будут брать запасных, – внезапно прошептал Гем, моргая во тьме глазами. – И вчера слышал, и на прошлой неделе, и ночью мне снилось...

– А почему, Левка, почему? Вот мать идет. Встань и уйди от меня! Как жаль нашей прежней комнатки, нашей прежней жизни!..

Она отвернулась к стене и беззвучно заплакала. Вошла Голда, нагрела руки под подушкой Песьки и сердито сказала:

– Хотела бы знать, до каких пор людям можно спать? А ты, Левка, сидишь? Ты не сиди, ты ступай в город! Ступай! Прислушивайся! Семка, вставай!

Она нагнулась к пятнадцатилетнему сыну, спавшему на полу, и стала тормошить его.

– Не хочу, – крикнул Семка, – смотри-ка, она дерется.

– Разве я бью тебя? – удивлялась Голда. – Ты спишь, а я с четырех утра на ногах. Встанешь, скажешь: «Дай кушать! Дай кушать, мать!» А хлеб хочет работу! Почему Этель спит? Вот она модистка. Модистке работать нужно, а она спит. И будет голодная, голодная...

Она начала ходить из угла в угол, поднимая всех лежавших здесь, и как бы на зов этого знакомого, тревожащего голоса отзывались двое детей Левки Гема, спавшие с Этель.

– Здесь нет богачей! – не унималась старуха. – Какие богачи собрались здесь? Но никого не берет за душу, никто не крикнет! Какое хорошее дело мы сделали? Ведь кричать нужно, реветь нужно! Был пожар, похоронили мальчика, – она вдруг заплакала обильными слезами, – довольно... Нет, не довольно! Нужна еще война. А кому нужна война? Нам! Тупые люди, нам! Вы думаете другим? Нам! Только нам!..

Она раз пять выбегала в лавочку, и в комнату доносился ее хриловатый, плачущий голос, а когда возвращалась, то говорила, словно речь ее не прерывалась:

– Вот взяли Мойшку в прошлом году, и теперь он на войне. От Мойшки было столько пользы, сколько от Семки, но ведь взяли сына, взяли мозг, мою кровь... И кто знает, что с ним?

– Если бы ты не кричала! – прошептала Песька, повернувшись.

– Сейчас я запою! Где взять сил, чтобы без слов на плечах носить горе, в сердце носить горе? Если твоя лавочка сгорела, если ты теперь голая, голодная, если твой Левка запасный и должен бояться войны, – как молчать? Только от Наума еще есть радость, только от него!.. А посмотри-ка на нас? Посмотри на Маню, на Этель, на ее жениха! И все сидит и давит и хочет сидеть и давить маленькую, несчастную лавочку.

– Меня не трогайте, – слышался голос Мотеля из дальнего угла. – Вы можете жаловаться, кричать, но меня не трогайте. Я этого не люблю. Моргну глазом и уеду в Америку.

– Моргни, – хотела бы уж видеть... Я не поморщусь, нет, нет. Дай Бог! Уезжай. Видела счастье Песьки, вижу и счастье Этель.

Раздался пронзительный плач, и длинная худая девушка выскочила на середину комнаты. Неумытая, растрепанная, наскоро втыкая булавки в волосы, она плакала страстно, точно так изболелась ее душа, что только диким воплем она могла отогнать свое страдание. И сама себя прерывала такими же страстными пылкими словами, такими же страстными всплескиваниями рук.

– Смотри-ка на нее! – возмутилась Голда, но отступила. – Чтоб ты онемела!

– Вот я уйду, – вмешался Левка, поднимаясь.

– Я прошу! Песька больна, – как раз кстати она больна! Почему-то теперь она больна...

– Ты говоришь, ты! – кричала девушка. – Зачем ты детей родила? Я твое горе на плечах носила, двадцать восемь лет я его носила. Я помогала тебе сердцем, никто не помогал, – я помогала. Так что же ты мое сердце мучишь? Цело мое сердце, целы мои надежды? Так еще ломать, еще топтать. Ты мать, – я хочу знать, ты ли мать? Что ты мне дала? Жизнь! Я дарю

тебе теперь эту жизнь. Бери ее, но не бей кнутом, не бей камнем... Я работаю, я! Что во мне теперь? Здоровье осталось там, в мастерской, годы здесь. Так отчего же его гонишь? Человек меня полюбил, мою душу полюбил, не трогай последнего, не смей трогать...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.